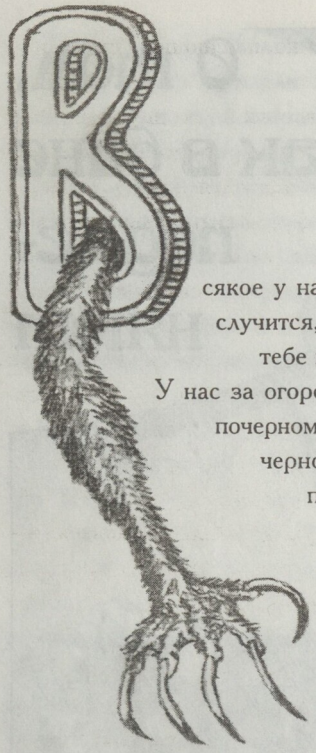
О том, как в бане подменяют





сякое у нас бывало. Иной раз такое случится, что самому странно. Я вот тебе про баню скажу, про нашу. У нас за огородом баня стоит черная — почерному, значит, топится. Бывал в черной бане-то? У вас в городе, поди, нет уж такого дива. С непривычки может и не понравиться — дымно там бывает, когда протапливают. Дым-то через махонькое окошко выходит, трубу раньше не было привычки выводить. И избы ране такие бывали. Но пар там, не в пример белой бане, — сухой, жаркий. И дух хороший, лесом пахнет, дымком. Другого такого не сыскать, почитай, по всей земле, как он в русской бане стоит. Наша-то баня такая же.. каменка в ей еще прадедом моим складена,

он же и сруб ставил. Накрепко, по сию пору стоит, и не покосилась ничуть.

Так вот. Я тогда еще углан был, но шустрый. Матушка баню протопила, а отец с братьями подзадержались, робили они много. И пошел я в баню один. А одному, да еще в первый жар, ходить нельзя, это мне сказывали. А я че, варнак был, маленький, вот и побежал сдуру. Одежду в предбаннике скинул, стопочкой сложил, крестик на гвоздочек. Иначе, вишь, нельзя, не положено в баню с крестиком хаживать. А сам аж от радости жмурюсь: пар-то хороший шибко любил. Ну вот и дожмурился. Как хлестаться начал, чую: вроде щенок где-то визжит. Слушаю, а он то под полком, то в углу. Стал и его по помещению гонять, а щенок вроде под столб забрался и верещит оттуда. Я уж до земли расковырял — так охота было посмотреть, что за собачонка, — а ее все нету. За кайлом ведь сходил, не поленился, начал землю копать под столбом. А тут с потолочины как грабли на меня опускаются, норовят за волосья ухватить. Я — что есть духу — за дверь! В предбаннике стою дрожу, одежда вся раскидана, смена в земле вымарана, только крестик и не тронули. Ну, я заревел, как оглашенный. Тут в аккурат отец с братьями вернулись:

— Чего воешь?

— Страшно, тятенька. Тама щенок визжит и грабли с потолочины тянутся. Чуть волосья все не повыдергали.

— Дак ты, варнак, напроситься забыл!

— Забы-ыл, тятенька.

— Ну, впредь тебе наука. Пошто один в первый жар пошел? Пошто не напросился у банного хозяина? Пошто землю кайлом-то ковырял? Вот и получил сполна. Спасибо еще скажи, что навовсе не задавили!

Вот с той поры попомнил я тятенькины слова. Когда в баню идешь или еще куда — в овин там, на двор, — напрашиваться надо. У каждой постройки, вишь, свой хозяин имеется. В бане — банная староста, в овине — овинник, на дворе — дворовой хозяин. В баню, сказать, заходишь, дак должон напроситься: «Банная староста, пусти в баньку помыться, попариться». Никакой сатана тогда тебе не страшен!

Потом уж матушка меня отпоила, приласкала да стращать стала, чтобы на всю жизнь запомнил. У нас ведь как бывает: вона у соседей дедушка — пошел он раз в баню да припозднился. Уж полночь на дворе, а время это самое нехорошее — шуликины по земле разгуливают, людям досаду делают, — самое бесовское время и есть. А он запамятовал. И вот ушел, и нет его, и нет. Бабка-то забеспокоилась: че ино, где мужик-от? Послала внучка. А он прибегает, кричит: «Дедушко в бане головой в каменку лежит! Уж ободрали его вовсе!» Кинулись туда: так оно и есть. Банники его башкой в каменку запихали да кожу-то обдирать начали. Жуткое было дело.

Если б только с ним! И с другими случалось. Матушка, вон, тогда же мне и рассказывала, что с ней самой в девках случилось. Пошла она как-то с подружкой в баню. А та бойкая была — топит и топит, совсем уж невмоготу терпеть, но все мало, еще поленья подкладывает. Тут с потолочины ей вроде и говорит кто-то:»Топи печку жарчей, чтобы кожу обдирать ловчей». Матушка-то напугалась: неладное ведь блазнит, а подруга ее знай подтапливает, жар, видать, любила шибко. Матушка ей: «Тебе, Катерина, знак был, не топила бы шибче каменку, как бы беды не было». Не послушалась та, хотя и много младше была. В баню надо идти, а матушка отказалась и Катерине не присоветовала. А той, что хвост, что погост — все едино. Одна и ушла. А через какое-то время послышались крики оттуда, забренчало что-то, паром двери вышибло. Глядит матушка: Катерина, как ошпаренная, вылетела! Бьется, кричит, кожа с нее сама собой сходит. Долго она без памяти была, а как опамятовалась, все плачет и плачет. Стали спрашивать, что ж там такое случилось. Она и говорит: «Лавку, полок окатила, веник запарила да бзданула мятным отваром. Ой, что тут началось! Ужас какой! Выскочили махонькие в шапчонках островерхих, стали меня по бане от стены к стене кидать. А сами приговаривают: «Растопила печь жарчей, кожу будет драть ловчей!» И смеются, окаянные! А веник, как оглашенный, и хлещет, и

хлещет! У меня уж и вздоху не хватает, а они все по бане перекидывают. Я под полок, они за ноги вытаскивают и все норовят в каменку запихать. Каменка-то каленущая, жаром от нее так и пыхает. Один за соски ухватился и выкручивает, уж и не знаю, как кожа не полопалась! Сама не помню, как меня в двери-то выбросило». Видят люди: неладное дело. Осенили дверь крестным знамением. Однако в баню никто не решался зайти. Потом уж заглянули. А там пол весь когтями исцарапан. Глубокущие такие борозды, будто кто плахи хотел выдрать.

Хозяева-то в баню долгонько не хаживали, боялись. Намаялись по чужому пару, надоело до смерти. Вот позвали они батюшку, холста там, яичек посулили за работу. Батюшка в бане отслужил, всю как есть баню очистил от окаянных. «Можно, — говорит, — теперь мыться, париться». Стали они снова там сбираться: только уж поодиночке никто и не шел, всем гуртом мылись. А Катерину долгонько никто не сватал. Угланы ее «чертовой невестой» дразнили, не со зла, конечно, а так пришлось. Тело-то у нее, видать, поганое стало. Так в девках годков до двадцати засиделась. По тем-то временам это уж перестарок. Опасались парни брать, мало ли что с ней там окаянные сделали.

Однако ж и ее век пришел — высватал Катерину вдовец из соседней деревни. Для девки-то это самый позор и есть, но замуж-то охота, естество женское просит для чрева работы. Повыла она, поголосила да взамуж, как в омут, с головой кинулась. Только плохо ей жилось: мужик злющий попался, первую-то бабу свою он в могилу свел. А за Катериной вон какая провинность значилась. Не простил он ей баню ту, бил ее смертным боем, а родители обратно уж не принимали. Прибежит она вся в синяках, а они ей: «Вертайся, откуль пришла. Не нужна ты нам такая!» Так Катерина и до внуков не дожила. А жаль, хорошая, говорят, баба была, работящая, с детишками ласковая. Что ж еще-то надо?

Такие вот факты бывали раньше у людей. Да и нашу семью не миновала чаша сия. Рассказ этот долгий, мне от дедушки Карпа по наследству достался. От него это умение ладно говорить и ко мне перешло, хотя у меня так баско не получается, но Бог не обидел, грех жаловаться. Я еще молодой был, старушка одна все приставала: «Давай, — говорит, — Егорушко, научу тебя, как девок присушивать. Есть присушки-де такие — как скажешь, ни одна девка не устоит. Вся твоя будет, делай с ней, что хошь!» А мне ни к чему. Я парень видный был, уста медовые — девки и так липли, вежливость оказывали, вот я и не терялся. Ох, грехи наши тяжкие! Ничего нет на свете слаще греха! Знаешь ведь, поди, девки старые бывают, вот они меня шибко любили. Как вечер, вызывают: «Егорушко-о, пойдем да пойдем, нам тама че-то помочь надобно». А помощь-то, известное

дело, какая требуется. Но наказ родительский помнил свято. Как к бане или к овину там идешь — обязательно напрашиваешься: «Хозяин овина, будь милостив, пусти у тебя переночевать». Да ежели еще и подношение сделаешь, совсем ладно будет. И все ласково получалось, и сатана никакая не брала. Так-то вот.

А дедушка Карпа сказывал такую историю, все как есть было. Сами-то мы не из богатеньких, так себе жили, семья большая была. И был у деда брательник младший, Яков. С младшенькими в семье, сам знаешь, как получается. За столом у него самая малехонькая ложка, а хозяйство делить — дак ничего и не достается. Худо младшеньким-то в семье, как подрастут. А тут как раз неурожай, сушь великая настала. И по полям с иконами ходили, и молебен во дарование дождя отслужили, но Бог, видать, испрогневался — не послал дождя ни капли. Над деревней вихорь пыльной ходит, хлеб уж пополам с мякиной пекут. Не знали, как до осени и дотянуть. Тут, считай по-современному, призыв подошел. В солдатчину забирали. Раньше-то у старосты бывало все расписано, какому двору очередь рекрутов отдавать. А в тот год выпало богатенькому мужику. Вот он и приходит к нашим:

— Дай вам Бог здоровьица. Времена тяжкие настали, година лихая, надобно всем по-соседски делиться. У меня вон хлебушек в анбаре сохранился, запасец какой ни есть имеется. Не надобно ли помочь? Вон у вас семеро по лавкам, а в анбаре пусто.

Прадед-то смекнул, с чем мужик пожаловал. Человек он крутой был и нраву строгого, так и рявкнул:

— Хорош лясы точить! Сказывай требу свою! Не то за порог.

А тот:

— Сынок у меня слабенький, не задался, да и бабу еще не знает. Ему бы погулять чуток, девок пощупать, силы набраться, а тут, как назло, рекрутчина! Не выкупите ли билет наш? Я вам хорошо отплачу.

Жаль младшенького, да совсем уж приперло, с голодухи уж пухнуть начали. Ударили по рукам. Выпало Якову безвинно пропадать на армейских харчах да палках. У солдат-то, известное дело, вся наука через задницу палками вбивается.

А перед уходом выговорил Яков себе отвальную неделю. И все за счет богатенького мужика, чтобы ни в чем отказу не было. Вся деревня от его чудачеств веселилась, а родители знай только девок своих за подолы держали, чтобы Якову не попались. Вина ему было, хоть залейся, жрал в три горла, куда только лезло! И все не натешится. В солдаты, почитай, как в могилу провожали. А тут удумал: «Желаю в санях прокатиться с бубенцами. Чтоб все, как на Масленую неделю, было!» Богатенький-то мужик рад стараться. Надо ж такое удумать!

Солью всю дорогу у моста засыпал, на мосту по щиколотку. Запрягли Якову лошадей самых ярых и всласть накатали. Песен бабы попели, натешили душу, а последний денечек подходит. У Якова сердце все изгрызло, тоска забирает. Всю остатнюю ночь молился, чтобы Господь легкую службу даровал, чтобы не убило в какой баталии. А утром собрал узелок — и был таков. Только матушке в пояс поклонился да иконку ее поцеловал. Она-то потом долгонько убивалась: сыночка, кровиночку родную, за три пуда хлеба да овечку продала!

А в то время в нашей же деревне баба одна на сносях была. Обрюхатила не ко времени, в самую лихую годину. Ну да против естества не попрешь. Бабам, им на роду написано брюхатеть да детишков рожать, тогда никакая напасть не страшна — не переведутся людишки на нашей земле. А эту, вишь, все тоска какая-то забирала. До последнего дня ведь в работе, спину не разгибала. Больниц-то раньше не было, в банях рожали, по избам, а которую в поле застанет — дак в поле и разрешалась от бремени. Тут и ей время приспело. Помолилась она пресвятой Богородице, прощения у всех попросила. Свекор ее благословил. «Иди, — говорит, — с Богом. Принеси нам уж хоть кого-нибудь». Это, вишь, обычай такой раньше был. Отправилась баба в баню, да, видать, бес ее попутал — не напросилась. Ночью лежит, тихо все. В углу, слышь, огонек синенький загорелся, и разговор слыхать, двое разговаривают. «Приходи сёдни ночью, подруга, у меня квартирантка». — «Одна, чай?» — «Одна. Да у нее ночью младенчик будет. Вот мы их и задавим. Давно я человечинки не пробовала». У родильницы аж испарина по телу пошла, ребеночек забился. «Дак она, может, напросилась?» — «Нет, забыла. Вот и наказание будет. Знатную пирушку устроим».



Баба с полка соскочила, света не взвидя, из бани кинулась. Свекор ее отругал да обратно отправил, перекрестя. В избе, вишь, погано, народ: тогда ведь семьями, не по одному жили. Вернулась баба, а огонечек еже и не горит. Тут-то у нее все и началось. Отмучилась, откричала, девку родила — тело белое, гладкое, волосики тоненькие вьются. Дак вот опять незадача — ножницы в предбаннике оставила, пуповину-то нечем резать. Пока обернулась, время какое-то прошло. Заходит в баню, а девчонка ревмя ревет, аж заходится от крика, вся пятнами пошла. Испугалась баба, сиську в рот сунула, а девка-то и куснула ее. Дак ведь до крови, — с зубьями, видать, родилась. Тут остальные на крик сбежались. Стали говорить: неладно, мол, что ребеночек с зубами, нехорошая это примета. Кто-то уж убить ладился, да баба не допустила смертоубийства.

Но с ребеночком этим баба намаялась. В зыбке девку качает — та ревет, из рожка молоком поит — та ревет, тряпицу под ней меняет — та ревет. Никакого покою нет от ребенка. Так баба у зыбки и просидела шестнадцать годочков, все доченьку байкала. А та ревет, ест, пеленки марает, а расти — не растет. Ну, ни капельки за шестнадцать годков не выросла!



Яков к тому времени со службы вернулся. Был он в разных баталиях, а турку когда воевали, ранило его так, что и лечить не взялись дохтура, вот и отпустили до дому. Шибко злой он до жизни вернулся. Уж за тридцать, поди, было. Страны чужедальние повидал, а что ж он еще из нормальной человеческой жизни видел? Ничего. Казарма да плац, плац да казарма. На воле-то и разгулялся, одно что силушка позволяет. Сорвал одинов с мужика шапку, баню за угол поднял да зашвырнул шапку туда.

— Гони, — говорит, — штоф, а то баню разбирать придется!

Мужики-то не серчали, тоже ведь люди с понятием. Угощали его сколько могли. Да не век же дурака валять!

А тут такое дело получилось. Загуляли они. Яков про битвы похваляется, где и приврет чуток, силу свою показывает, а мужики да парни знай подзуживают. И про бои охота послушать, и самим в грязь лицом не ударить.

— У нас, — говорит один мужик, — баня есть. Вона, хозяин раз пошел туда, в предбаннике еще услыхал, что хлещется кто-то. Дверку-то отворил, а тама банник с банницей друг дружку парят. Каменка каленуща, не утерпишь, какой жар от нее идет. Мужик спужался, убежал.

А другой пуще страху нагоняет.

— Там, — говорит, — нечисто. Утром, как хозяева зайдут, каменка теплая, все чисто выметено, прибрано. Боятся они теперь. А ты, Яков, не испужаешься?

А тому и море по колено.

— Спорим, — говорит, — что пойду туда в ночь-полночь, камень с каменки выну и живой вернусь.

Ударили по рукам. А баня-то та и была.

Полночь пробило, собрался Яков, молитву сотворил, крестик поцеловал и пошел. Входит — что за диво? Каменка горячая, веник в углу подрагивает, будто кто сейчас заметал. Схватился Яков за камень, а выдернуть-то не может. Тужился, тужился — не получается. Тут синенький огонечек в углу засветился, вышла из-за

каменки девка голая. Хвать Якова за руку, а он выдраться не может — пальцы, как железные.

— Тут-то ты мне и попался. Пошто ходишь по ночам, где не след? Пошто тревожишь?

— Дак за камнем я, красавица. С мужиками вон поспорил.

— Дурья ты голова, они ж над тобой надсмеялись. Неподвластна человеку баня с полночи до петухов первых.

— Что ж делать-то мне, голубушка, научи ради Бога!

— Научу, коли пообещаешь в жены взять.

Посмотрел на нее Яков. Ладная девка. Стан крепкий, бедра белые, грудью не одного ребеночка выкормит.

— Да ты, чай, чертовка?

— Нет, солдатик, не чертовка я. Живая христианская душа.

— Что ж ты тут в такое страшное время делаешь?

— Служу я, солдатик. У кого, не велено сказывать. Ну как, согласен ли за себя взять?

— Девка ты ладная, только боязно мне.

— Вот так раз. Ничегошеньки не боялся, в полночь в нечистое место пошел, а тут забоялся.

— Всякое в солдатах повидать пришлось, а такое впервой. Ты, чай, и под венец-то не пойдешь?

— Коли согласный, как велишь, будет. И в церкву пойдем, и к родителям моим. Ну, решился ли?

— Что ж сделаешь с тобой? Решился.

— Ну, коли поладили, слушай меня, ничегошеньки не перепутай. Хозяин меня так просто не отпустит, его обхитрить требуется. Завтра в полночь сюда же ступай. Как синенький огонек засветлится, выйдет к тебе мужик страшной. У него ты меня и просватаешь. Мужик тебе



скажет: «Невесту, мол, выбирай, которая тебе люба». Приведет тебя в помещение, а там двенадцать девок, все на одно лицо. Но ты не тужи. Коли рассмешить сможешь, без оплошки выберешь. Как все заулыбаются, смешки пойдут, бери ту, у которой зубы белые. Я это и буду, у остальных-то они желтые. Потом он предложит тебе приданое выбирать. Там два мешка будет. Правый не бери — в нем все горести человеческие собраны. Настоящее приданое в левом мешке, то, что я за шестнадцать лет праведной службы заработала. Одежду для меня не забудь!

— Понял я, красавица. Только мне к мужикам зазорно без камня возвращаться. Ты бы уж подмогла.

Улыбнулась девка, а зубы-то у нее и вправду белее снега белого.

— Эка незадача. На вот, держи!

Смотрит Яков: девка камень взяла да легонько так вынула из каменки. И не стало ее. И огонек погас, как задули его. Вернулся Яков к мужикам, а они смеются.

— Что-то ты солдатик, грустный пришел. Не иначе тебя банница околдовала, чертовку высватала!

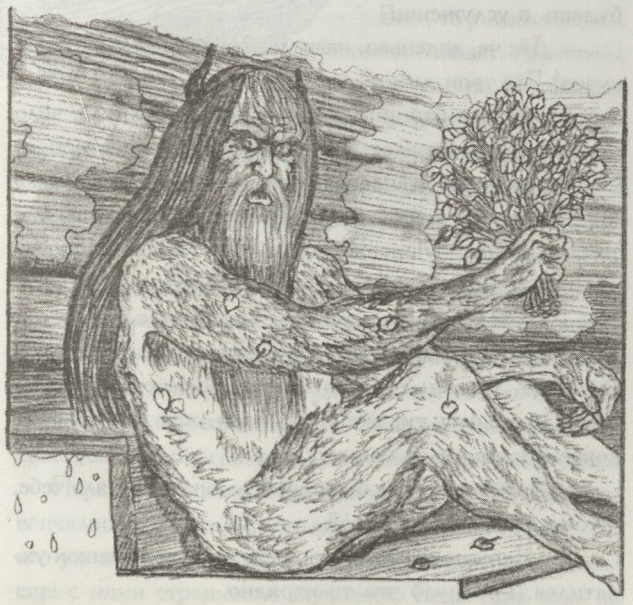
Бросил Яков камень на стол.

— Может, и правы вы, мужики.

На том веселье и закончилось.

Извелся Яков, весь день в думах провел, как быть-то. Одному жить — с тоски в петлю полезешь, а за

старого какая же девка пойдет. Ровнюшки-то все уже в бабах, ребятишек не по одному и не по два имеют. Решился-таки. Ближе к полуночи в баню пошел, на лавке примостился, сидит, ждет. Тут огонечек синенький засветился, каменка затрещала, и вышел из нее мужик. Косматый, брови до подглаз достают, руки — как бревна, и шерстью поросли.



— За чем пожаловал, солдатик?

— За хорошим делом, за сватовством. По невесту, дяденька. Скучно одному жить стало, а у тебя, слыхал, товар имеется.

— Есть у меня товар, а не испужаешься?

— Я-то? После турки мне сам черт не страшен.

— Ну смо-отри. У меня девок много. Только, ежели ошибка выйдет, не отпущу я тебя. До скончания века будешь в услужении.

— Дак че, дяденька, назвался груздем — полезай в кузов! Где твои девки?

Отступился банник, каменка жаром пыхнула, чело отворилось, и оказался Яков в помещении просторном. Стоят перед ним двенадцать девок на одно лицо. Какая та? Побрел он, каждую разглядывает, а в глазах у них тьма-тьмущая. Мертвые глаза. Тут Яков и споткнись. А девки зубы оскалили, засмеялись:

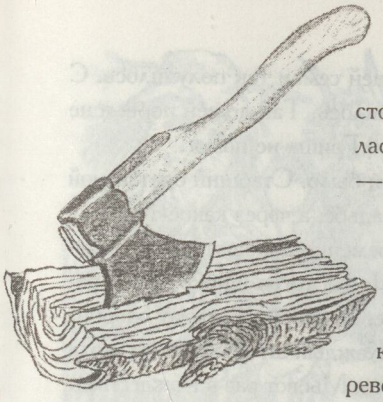
— Ну и женишок, идет — спотыкается.

Глянул Яков: у всех зубы желтые, у одной только белеются. Ухватил ее Яков за руку: вот, мол, моя невеста. Остальные тут же и пропали, как не было их вовсе. Нахмурился банник.

— Ладно, твоя взяла, хорошо выбрал, повезло тебе. Теперь приданое выбирай.

Тут Яков не растерялся, сразу за левый мешок ухватился. Грохнуло что-то изрядно.

— Хитер, гад! — сказал банник и исчез.



Очнулся Яков — в бане стоит, а рядом девка. Оделась она.

— А сейчас, — говорит, — веди меня в избу, где ребенок плачет.

Приходят они в избу. Баба-то у зыбки сидит, качает, байкает. А ребенок ревет, заливается. Подбежала девка к зыбке, схватила его да как бросит через левое плечо. Потом топором расколола.

— Кого ростите! — кричит. Глянули родители, а на полу чурка осиновая. Девка отца с матерью обнимает, целует.

— Я ваша дочь настоящая. Меня банник подменил, когда ты, маменька, за ножницами пошла. Шестнадцать лет он меня в служанках продержал, а вы чурку осиновую байкали. Я к вам не одна пришла, вот жених мой. Не глядите, что не ровнюшка мне, Яков меня из услужения спас. Кабы не он, сидеть бы у банника до скончания века.

Порадовались они, конечно, попировали. Молодые обвенчались. От этой пары еще кровь наша пошла. Но это уж в другой раз скажу, как они жили-были, какие еще с ними странности случались. Беда одна ведь не приходит, все норовит, как маслята на грибнике, всем

скопом выйти. Вот и у нашей семьи так получилось. С банником на том не закончилось. Так до сей поры и не знаю, как бы вышло, если б Гриша не помог.

Это уж у меня на памяти было. Старший братан мой девку взял. Отгуляли на свадьбе, а через какое-то время пришел срок Евдохе от бремени разрешаться. В аккурат под самое Рожество. Народ тогда шибко гулял, весельство было безудержное, но чтобы по-злому озорничали — такого не бывало. Каждый шутку понимал, коли уж попался, дак не обижались. Мы вот раз в Рождественскую неделю из избы выйти не могли. Торкались в двери, торкались, а они — как закаменели. Пришлось через двор идти. А и там ворота на запоре. Тятенька смеется:

— Ну, — говорит, — шуликины надсмеялись.

Пришлось нам стену разбирать — тогда только и вышли. На крыльце кто-то, вишь, созорничал — золы насыпал горкой и водой залил. Вот за ночь-то вода настыла, приморозило золу так, что и не выйти. А у двора поленницу развалили.

Шуликины по всей деревне на палках скачут, как скаженные. Рожи сажей вымазаны, юбки старинные бабкины болтаются — не разберешь, кто где. У нас-то ничего, а у деда Коляна тогда корову свели. Насилу он ее отыскал, шуликины-то корову на овин загнали, как и управились?! Весельство весельством, а Евдохе не до смеху. Кому не впервой, им и то муторно перед самыми



родами, а ей все внове и молоденькая была еще. Шибко боялась, вот и снарядили с ней старушку опытную. Расположились они в бане, все как у людей, — тепло, чисто, сухо. На удивление, говорят, она быстро разрешилась. Да так спешила, что старушка по воду сходить не успела. Каленая вода у них, вишь, приготовлена была, а студеную не успели. Вот старушка и побежала на полынью, ладно, что речка под укосом.

Евдоха потом сказывала: только старушка за порог — заворчал, зашебуршал кто-то под полком. Страш-

но стало, а она же без всего лежит, кругом кровью перепачкано, и младенчик рядом. Хочет Евдоха встать, а не может — как придавил ее кто большущий к лавке, ни вздохнуть, ни охнуть. Хочет заорать — язык сковало, рукой шевельнуть — не поднимается. И чует, карабкается кто-то на нее. Плоть мягкая, как подушка, пальцы холодные, склизкие, так и шарят по телу, так и шарят — к горлу подбираются. Бедра раскрытые поглаживает, холодом под самое сердце катит. А потом как обручами железными стянул — да так, что молоко брызнуло. Где уж силы-то нашла — застонала, сбросила — и в предбанник.



Стоит, дрожит вся, тут как раз и старушка подоспела.

— Что ж ты, милая, на мороз выскочила да младенчика одного оставила! Загубишь ведь мальчонку! Как бы беды с ним не было.

В баню заскочили, услышали только, как смяргал кто-то. Мальчонка ворочается, сопит.

— Ну, слава тебе, слава тебе, Господи! — старушка закрестилась, запричитала. — Не случилось ничего с младенчиком.

Евдоха-то без сил на лавку опустилась, худо ей, терпеть нет моченьки. Старушка и говорит:

— Молодец, девка, совладала с окаянным. Он, сатана, сырых-то баб пуще всего на свете любит, когда они после родов только-только, когда в теле все раскупорено. Вот и ладился. Ему сырая-то баба — самое то и есть.

И верно. Вон я когда заготовителем работал, жил в одной деревне, недалеко здесь. Дак там то же и было. Разродилась учителка одна, а муж-то у ней в ту пору на сборах был командирских. Она, правда, не в бане рожала, а в больнице, по-культурному все, как врачи велят. Вернулась с мальчиком, а одиноко они жили: родни никакой, из Сибири откуда-то приехали. Вечером примечают соседки: поздно уже, а у учителки шторы зашторены, свет горит, тени какие-то ходят. Не иначе — гости. Потом потухла лампа вроде. Утром глядят: из квартиры никто не выходит, печка не топится — даже дымка не видать.

Подошли к двери, а на крыльце следы, как от копыт. Сломали створки, а в квартире все порушено, побито. Учителки нет нигде, а младенчик едва живой в одеяло завернутый лежит. В печь-то, в трубу заглянули — там ее, бедненькую, и нашли. Вся в царапинах, исполосована, рот полотенцем завязан, чтобы не кричала. Бабушки говорили, что это сатана ее укараулил, под вид мужа показался, насладился ею, отдал бесенкам, чтобы натешились, а потом и убил. А младенчика тронуть они не могут — младенчик, он безгрешный, до него никакая нечистая сила не доберется. Муж-то вернулся, ребенка забрал и к родителям уехал своим. Вот так вот.

А Евдоха со старушкой еще три дня в бане жили, в избу не перебирались. Странно только ей казалось, что мальчонка почти и не плачет, хнычет только тихонечко, как шуршит. На вид-то здоровый, а сердце материнское не на месте. Однако в избу перешли. Самое время настало крестить парня, а в крестные порешили Григория позвать. Уважали его шибко, хотя и работник из Гриши никудышный был — непонятно, какими гвоздочками душа к телу приколочена. Пришел Гриша, на младенчика поглядел внимательно так, — это уж я сам помню, — потом на Евдоху, так и колет, так и колет ее глазами. Она и утерпеть не может.

— Ты его, Евдоха, одного в бане не оставляла?

— Да нет, дядя Гриша, не бывало такого. Ежели

одна по нужде выходила, дак другая оставалась, все, как заведено было.

Они, вишь, со старушкой-то решили скрыть поначалу, что не все ладно. Вот и не сказывали.

— Смотри, Евдоха, все ли так было?

— Да все, все, дяденька.

— Ну ладно, до завтрева прощайте, а утром ты мне, Евдоха, сон свой расскажешь. Только чтоб все без утайки!

С тем и вышел. А поутру просыпается Евдоха вся в слезах.

— Ой, Господи, Господи! Спаси мя и помилуй, прости все пригрешения наши! Ой, да за что же мне такое наказание, Господи! Да что же это такое привиделось!

Так и причитала, пока Гриша не пришел. А как появился он, она и вовсе в три ручья залилась.

— Ну, сказывай быстрее, что видала во сне-то. Может, помочь еще вашей беде время есть.

Она малехо успокоилась и рассказывать зачала:

— Иду я по громадному лугу. Травы кругом мягкие, цветочки пестренькие, так и стелются под ногами. А босиком иду, вроде и не по земле, не чую ног под собой. Трава-то мягче пуху лебединого. Иду я, иду, а впереди оградочка виднеется. Беленькая оградочка, штакетины там легонькие, тоненькие. В оградке детишки ходят. Посмотришь на них — сердце радуется, какие они умытые да причесанные. Волосики у всех длинные, ниже

плеч опускаются — и у мальчиков, и у девочек. У каждого в руках игрушка или книжка там. Одни губками шевелят — читают, другие с игрушками играются. Одежи белые длинные. И ходит с ними вроде воспитательница. Тоже халатик на ей длинный, белый, до полу. А Ванюша мой по-за оградкой ходит, плачет. Смотрит на ребятишек и еще горше заливается, тихонечко так, нешумно. Ему тоже в оградочку охота — книжки почитать, игрушками поиграться. Бровки нахмурил, насупился, так и скулит, как собачка побитая. А воспитательница мимо проходит и не видит Ванюшеньку. Сердце у меня зашлось — сыночек, кровиночка! Подхожу я к воспитательнице ихней: «Что же вы Ваню моего не пускаете?» А она мне: «Не нервничайте, мамаша! Не положено его туда пускать. Не наш он, нельзя ему со всеми детьми». Как так нельзя, роженое ведь дитятка! Вот я и заплакала сама. «Что ж вы говорите такое? Не собачка ведь он. Чем он хуже этих-то?» Воспитательница вроде смягчилась лицом. «Сходите, мамаша, к сторожу нашему, может, он пропустит, а мне нельзя». Пошла я к сторожу. А он бородатый, борода чуть не до пояса спускается, глаза в морщинках, добрые, как лучики от них исходят. «Знаю, — говорит, — твое горе, Евдоха. Знаю, да помочь не могу. Сходи к набольшему, может, он заступится, поможет чем».

Отправилась я к набольшему ихнему. Иду, глаз поднять боюсь. Стыд меня жжет проклятущий, испережи-

валась вся. Подхожу. «Не бойся, — говорит, — женщина, подними глаза. Грех на тебе тяжкий — родное дитё уберечь не смогла. Взял бы я его в оградочку к детям, да не могу. Не наш он, уж не обессудь. Живи надеждой, Евдокия, времени у тебя на все не более суток осталось». Сказал так и пропал. И луга не стало, и оградочки, и детишек в оградочке этой, и сторожа, и воспитательницы. Только пустошь кругом кочковатая, всеми ветрами продуваемая. И ни деревца тебе, ни былиночки. Стоит посередь пустоши Ванечка мой и горько плачет. Тут-то я и проснулась. Ой, Господи, Господи, за что ж мне мука такая нечеловеческая!

И снова слезами горькими залилась, стала о столешницу хлестаться, как невеста на просватанье. В кровь руки исхлестала. Помолчал Гриша, задумался.

— Сутки, говоришь, дадены?

— Да сутки, сутки, миленький! Спаси уж дитятко мое ненаглядное, а то не жизнь мне, сей же час задавлюсь!

Тут-то старушка не сдюжила, все рассказала, как было на деле, как Евдоху банник давил, как бросили они мальчонку.

— Да знаю я, бабушка. Ясный у Евдохи сон бул. Пока ты за водой рыскала, а молодуха от сатаны отбивалась, подменили вам мальчонку. Веник сунули. Он сухой, вот и шуршит, как хнычет, а вам блазнит, что это человеческий детеныш.

— Что ж делать-то, родной, подскажи, Гришенька. Что хошь тебе за то будет!

— Да что с вас возьмешь? Ничего не надо. Обещайтесь только, что молебны отслужите да нищей братии хоть что-то из капитала раздадите.

— Это мы завсегда, только спаси, Гришенька, парнишечку нашего, ничего на доброе дело не пожалеем!

— Давайте мне мальчонку, веник ваш банный, сейчас и пойду.

Евдоха за сверточек цепляется, обезумела, ревмя ревет, у братана у самого слезы на глазах. А мы, угланы, забились в угол и языки прикусили. Чуем, что страшное дело происходит. Как ушел Григорий, все в избе и замерло. Вернулся только часа через два. Весь взмок, рубаха на спине потемнела, в сенях от него пар валил, как от жеребенка запаленного. Пришел, к пече привалился, едва дух переводит.

— Нет, не соглашаются отдавать. Голубенка мне взамен все выбрасывают. Сейчас снова пойду, только отдышусь.

Отдышался Григорий и пошел опять. Час проходит, еще того страшнее возвращается.

— Трудную вы мне задачу задали. И сейчас не отдают. То щенка выбросят, то поросеночка молочного. Приглянулся Ваня им, видать.

Посидел так за столом какое-то время, ковш квасу

выхлебал, в третий раз пошел. Возвращается, на себя не похожий.

— Получай, Евдоха, свое сокровище!

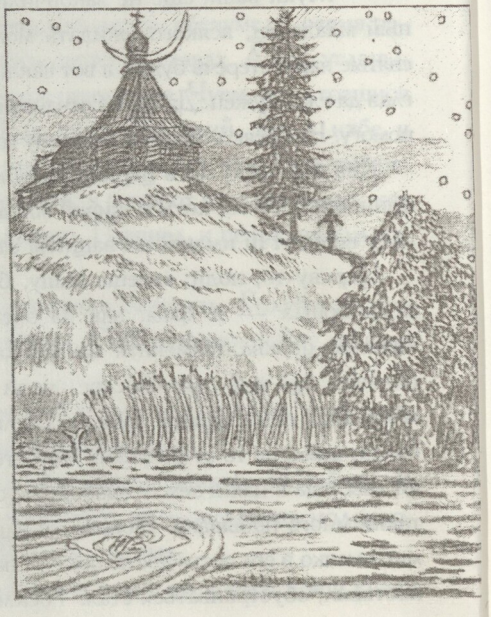
Сказал и пал, как замертво. Вот уж похлопотали мы над ним. А младенчик спит себе. Сиську пососал и уснул — намаялся за три дня-то. Евдоха над ним склонилась и на шаг боится отойти. Григорий, как в память вернулся, снова стращать начал.

— Муки ваши еще не закончились. Пока некрещеный младенец, всякого ожидать можно. В избе-то его святые наши стеречь будут, а вот как крестить повезем, тут глаз да глаз нужен. Да вы не отчаивайтесь, я, силы будут, помогу. Но, всякое бывает, ко всему готовым нужно быть.

Два дня минуло, в церкву засобирались, крещение принимать. А то, хоть и живой младенчик, его вроде и нету вовсе. Ни имени, ни защиты от напастей.

Церкву-то, поди, знаешь нашу, бывал ведь. Нынче мода пошла — в храм, как на экскурсию ходить. А наша-то церква знаменита на всю округу. Здесь ведь раньше, еще при царе-Косаре, люди не жили. Это дед моего деда сюда первый пришел. Беглый он был, не то от солдатчины, не то от боярских лютостей. Беглые людишки завсегда в наши земли свободные стремились, тут уж таких много побывало. Поселился здесь Егор Сушь — мне имечко в его честь досталось, — на берегу речки избу поставил, обустраиваться стал. Тоскливо только одному

пришлось. Вот и стало ему ночами чудиться, что с верхов крик петушиный доносится. По тому случаю и речку Чудовкой назвали. А потом раз углядел: стружь да щепки по реке плывут. Это уж первейший признак — в верхах кто-то поселился. Стали друг к дружке в гости наведываться да и зажили вместе. Потом еще кто-то пришел, из беглых. Так, человек к человеку, и деревня наша встала. Народ появился. — на пеньки грех молиться, вот и порешили часовенку рубить. Срубить-то не долго — и место нашлось, на самом высоком берегу. Там, что вниз, что вверх, далеко все видать. Река-то на излучину идет, дак там такие леса открываются, что сердце не нарадуется, особо когда солнце садится. Толково наши предки жили — ладно место для



жилья подбирали, ладно работали, ладно веселились. Сруб-то для часовенки поставить — дело нехитрое, да вот где икону взять, хоть бы уж какую-то? Думали-думали, так в голову и не забрело. А к вечеру бегут с реки угланы, орут во все горло: «Икона плывет, икона!» Мужики — на берег, глядят: и взаправду икону к берегу прибило. Одно только странно — она против течения приплыла. Тут ее из воды вынули, в часовенку внесли. И начались с того дня службы, крестины да венчания.

Потом уж, много позднее, решили каменную церковь наладить. Деревня-то разрослась, народу много — негоже всем в деревянную часовенку хаживать. Да с каменной церквой такая, вишь, приключилась история. Правду, нет ли говорят, врать-то вроде не с чего, только церква наша сама себя строила. Людям не понятно, как это так — и камень завезли, и раствор намесили, а каменщикам невозможно даже за фундамент взяться, не пускает их к материалу. Однако ночью камень — как убывает. Так оно и шло. Старухи говорили: мол, Бог с ним, с камнем, без божественного промышления тут не обошлось. Потому и трогать не велели. И вот в одно прекрасное утро ахнули все жители. В ночь церква сама прямо из земли поднялась. Куполами сияет, решетки на окнах узорчатые, а над вратами икона Божьей Матери в дорогом окладе — хоть сейчас службу отслужить можно. Но порешили сначала внутреннее убранство в Явленной цер-



кви закончить — ее Явленной назвали. Позвали богомаза, который по стенам выучен писать был, он по канону и расписал. Но первейшая картина у него с преисподней вышла, как там черти грешников на костре палят, в котлах варят. И надо же такому случиться! — только закончил он работу, грохнуло в небе, хоть и день ясный был, вдарила в самую церкву громовая стрела. Но не то удивительно, что светлым днем, а то, что прямо в глаз сатане. И справлять тогда не велели, так и простояла эта картина с ущерб от до тех дней, как церкву порушили.

Вот в Явленную церковь и отправилась Евдоха с Григорием сына крестить. В санях устроилась, медве-

жьей полостью укрылись, а позади мы, угланы, увязались — полная кошевка набилась. Нам же любопытно! Дорога-то недальняя была — с одного конца на другой переехать. Едем, и вдруг вихорь взметнулся на дороге. Закружило, заметелило. Погода ясная стоит, а вокруг саней пуржит так, что и не разберешь, где хомут, а где дышло. Только видать, как Григорий в санях поднялся. Руки в стороны раскинул, а вихорь кругом вьется. Тяжко Грише приходится, а от нас помощь какая? Тем паче, самим шевельнуться невмочь. Мерин наш, как вкопанный, стал. Хрипит, бьется, пена с губы клочьями летит во все стороны. А нас словно мороз сковал. Видим только, что слабеть Григорий начал. Уж и руки опускаются, вот-вот совсем рухнет. А младенца из материнских рук так и рвет, так и рвет вихрем.

Мы уж, грешным делом, подумали, что все, конец, не управиться Грише с бесовской силой. Но тут — батюшки святы! — небо открылось, а там все золотом блестит да серебром. Вот такими громадными буквами одно слово пламенеет, и распознать его можно — «ЗРИ!». Потом вроде лицо женское промелькнуло. И все. Пропал вихорь, будто не было его вовсе. Небо закрылось. Стоят наши сани посередь улицы, народ со всех сторон сбегается, и солнце вовсю полыхает. Конь опамятовался, затрусил себе потихонечку к церкве. Только Гриша без сил в санях откинулся.

Вот я и думаю: что ж то слово означало? Кержаки так в своих книгах нужное помечают, батюшка мне объяснил, что призыв это к внутреннему нашему оку, чтобы мы сердцем чуяли, как все на земле да вкруг нас обустроено. А я вот по недомыслию своему полагаю, что знак этот другое глаголет. Трудно тебе — глаз не закрывай, не отводи. Силы на исходе — опять же дело свое не бросай, глаза пошире распахивай. И на смертном одре, и в радости, и в печали не забывай глаза открытыми держать. Гриша так и жил. Ничего от него не укрывалось, потому и людям от него большая подмога была. Потому и не боялся он ни черта, ни сатаны, ни человека лихого!

